

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ К «ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ»

(«Кто жил и мыслил...»)

В сознании и судьбе Евгения Онегина отразились сложные процессы, происходившие в высших слоях общества, не только русского, но и европейского. В совсем еще молодые годы он вдруг почему-то заскучал. Ему опостытели свет, женщины, книги, даже балет. Он почувствовал отвращение ко всему на свете.

Переживания Евгения так типичны, что автор отождествляет себя со своим героем:

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар погас;
Обоих ожидала злоба
Слепой фортуны и людей
На самом утре наших дней.

Здесь получила свое выражение «мировая тоска», «Weltschmerz», «недуг, которого причину давно бы отыскать пора». Пушкин и описал ее — глубоко, но неясно — в стихах, которые все мы помним наизусть, иногда цитируем и, не очень задумываясь, проходим мимо этих как будто хорошо знакомых байронических пейзажей:

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей,
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.

Эти строки удивительно напоминают «Элегию» Пушкина, в которой возникают те же мотивы:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильнее.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но здесь автор ведет повествование от себя, и этот автор — сам Пушкин. Он не огорчен утратой веселья, и «грядущего волнуемое море» не очень его пугает. Он хочет жить для того, «чтоб мыслить и страдать». Мысль и здесь вызывает страдание, но о презрении к людям нет и речи: мысль представляется чем-то вроде жертвы, нравственного долга и, может быть, даже искупления за безумно потраченные годы. Во всяком случае элегия звучит оптимистически.

Отождествив себя, хотя и не вполне, с Онегиным, автор тут же начинает иронизировать: такое тотальное разочарование и безразличие ко всему на свете, конечно, придает «большую прелесть разговору». Это ирония не только над Онегиным и не только над его типом, но и над обществом, которое находит прелесть в таком мизантропическом и всеразрушающем разговоре.

В этих нескольких строках заключена некая загадка, а Онегин окружен тайной, которую автор не хотел раскрывать. Может быть, сам того не сознавая, он разыгрывает из себя какого-то байронического персонажа, Конрада, Лару или Чайльд-Гарольда. Но если он и принимал на себя модную в то время личину, то он был и жертвой недуга, распространенного в благоприятствующей тому среде.

Образ этот все же трагический. Почему тот, кто жил и мыслил, непременно должен презирать людей? Как объяснить это презрение, формулированное здесь как некий закон чуть ли не для всего человечества? Оказывается, что и автор тоже разделял когда-то такие взгляды: если Онегин был угрюм, то автор озлоблен, оба познали игру страстей и т. д. Если бы причина заключалась в жизненном опыте Онегина, в постигших его тяжелых разочарованиях, то спланировать этот образ можно было бы, в нем не было бы ничего таинственного, да и сам этот образ, вероятно, не стал бы таким широким обобщением. Но личного опыта у Онегина еще не было: он еще не убил своего друга и не влюбился в свою жертву. Пушкин делает акцент на мысли.

Однако равенство «мысль — страдание» имеет здесь не тот смысл, какой оно имело в «Элегии».

Если бы Онегин не мыслил, то не было бы у него бесчеловечного презрения к людям, так же как не было этого у других, никогда ни о чем не мысливших посетителей высшего света и

балетов Дидло. И с другой стороны: это презрение — нравственная ошибка, и потому нужно предположить, что самая мысль опасна для нравственного здоровья человека и общества. Само собой разумеется, что имеется в виду не бытовая и не производственная мысль, а мысль свободная, работающая над большими проблемами общечеловеческого значения.

Понятие свободы, провозглашенное еще во времена Реформации и получившее реальный смысл при Французской революции, стало одним из самых действенных в послереволюционной Европе.

Свобода была мечтой, полной человеколюбия, вызывавшей восстания, строившей баррикады и создававшей большие умственные конструкции. Это была новая свобода, еще в XVIII в. противопоставлявшаяся античной. Если в древней республиканской Греции свобода понималась как право управлять государством и, значит, нести на себе бремя общественных обязанностей, то новая свобода имела в виду прежде всего неприкосновенность личности и отсутствие обязанностей, т. е. это буржуазно-либеральное понятие означало свободу наживы и гарантировало частную собственность от всяких покушений.

Якобинцы считали своим предшественником и учителем Жан-Жака Руссо. Жан-Жак проповедовал неограниченную власть большинства, которому подчиняться любое меньшинство, — точка зрения, отчетливо формулированная Бентамом. Но Жан-Жак строил свою этику на чувстве, продолжая традицию, установившуюся в начале XVIII в., и выступал со своей теорией демократического равенства против аристократического рационализма просветителей. Идейная власть «философов», устанавливавшаяся во второй половине века, по его мнению, угрожала новым деспотизмом, презрением к простому народу и господством философской элиты. На этом и было построено его «Рассуждение о науках и искусствах», вызвавшее бурю негодования у «философов». В предисловии к комедии с характерным названием «Нарцисс, или влюбленный в самого себя» Руссо выражает эту мысль с особенной резкостью и глубиной: «Склонность к философии ослабляет все связи уважения и доброжелательства, соединяющие человека с обществом. Размышляя о человечестве, наблюдая людей, философ начинает понимать, чего они стоят, а то, что презираешь, трудно любить. Вскоре он обращает на собственную особу всю симпатию, которую добродетельные люди направляют на себе подобных: его презрение ко всем другим питает его самодовольство; его самолюбие развивается так же, как равнодушие ко всему на свете. Семья, родина теряют для него всякий смысл: он уже не отец, не гражданин, не человек; он философ»¹.

¹ «Narcisse ou l'Amant de lui-meme», 1752. Oeuvres complètes. Paris, 1826—1837, t. V, p. 106. В том же году комедия была поставлена на сцене. О ро-

Это предисловие, так же как «Рассуждение о науках и искусствах», «философы» приняли в штыки. «Рассуждение о неравенстве», отрицающее частную собственность, развивает то же положение о вреде личного начала, индивидуализма, ставящего непреодолимые преграды между личностью и обществом, разрушающее общество как единую коллективную личность. Насмешка над историческим человечеством, неразумным и ошибавшимся в течение столетий, приводила к прославлению философской верхушки, крепко сплотившейся вокруг определенных идеалов и почти бессознательно готовившей революцию.

Так возник образ идеального человечества, вольно или невольно противопоставлявшегося человечеству реальному. Отвлеченная любовь к идеалу вызывала презрение к каждому данному, необходимо несовершенному человеку, ко «всем». «В природе не существует совершенных людей», — писал тот же Жан-Жак, оправдывая поведение своей Юлии². Отношение многих просветителей к революции, разочарование в просветительских идеалах, страх перед «толпой», «чернью», народом возникает из этой жертвенной любви к «разумному» и «добродетельному» человечеству.

В начале XIX в. Французская революция в исторической перспективе почти отождествлялась с якобинской диктатурой. Либеральные историки, боровшиеся за «идеи 1789 года», оправдывали якобинцев, спасших свободу, революцию и Францию, рассматривая их как человеколюбцев и пугаясь их «крайностей», а вместе с тем и народовластия. Робеспьер в их представлении из той же трогательной и абстрактной любви к человечеству гильотинировал всех, кто не соответствовал его представлениям о добродетели. Этому абстрактному человечеству якобинцы принесли в жертву самое ценное, что есть у человека, свою совесть и свою нравственность. Дантон, пожертвовавший всем для дела революции, упрекаемый в предательстве и во всем отчаявшийся, незадолго до своей казни говорил: «Человечество мне опротивело».

Из опыта Французской революции делались выводы об опасности мысли. Рационализм как метод мышления казался насилем над действительностью, отрицанием исторически данного во имя идеала, который был создан «умом, кипящим в действии пустом». Мысль обособляет человека от массы, от верующего, неразмышляющего и трудящегося коллектива, она порождает индивидуализм, вредный для общественной жизни, вызывающий «войну всех против всех». «Декларация прав человека и гражданина», принятая Учредительным Собранием в 1789 г., казалась

ли Руссо в эволюции философской и общественной мысли Пушкина см.: М. П. Алексеев. Пушкин и проблема вечного мира. — В кн.: М. П. Алексеев. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. М., «Наука», 1972.

² «Les Confessions». Oeuvres complètes. Paris, 1827—1836, t. VIII, p. 312.

«сигналом бедствия, раздающимся с гибнущего корабля». Отсюда возникает глубокий и прогрессивный историзм, но, с другой стороны, отказ от социальных перспектив, рекомендация практической деятельности и буржуазного преуспеяния, прославление семейного круга, которым не хотел ограничить себя Онегин.

Отвращение к людям из любви к человечеству в обстановке реставрированной Европы становится психической травмой, нравственной болезнью. Такой диагноз поставил Стендаль, объяснявший современное человеконенавистничество как следствие любви к идеалу: «В наш век слишком глубокое понимание совершенной красоты в любой области (рисунок, политика и т. д.) — несчастье для того, кто чувствует эту красоту. Это чувство приводит к ненависти. Мучительное чувство»³. И та же мысль в эпиграфе к «Прогулкам по Риму»: «Э с к а л: Друг мой, мне кажется, что вы — человек немного мизантропический и завистливый. М е р к у ц и о: Я слишком рано увидел совершенную красоту».

Эта болезнь, получившая почти эпидемический характер, отражается и в литературе. Так возникает байронизм, сильно дифференцировавшийся в зависимости от времени и обстановки. «Древо знания — не древо жизни», — говорил Манфред, и Каин на собственном опыте понял, к чему приводит познание добра и зла.

Ряд революций, восстаний, заговоров во Франции, Италии, Испании, Греции, подавлявшихся с ужасающей жестокостью, питали эту философскую трагедию. «Неистовая словесность», омрачившая французскую литературу особенно после Июльской революции, проникает в Россию и оставляет свой след в творчестве величайших писателей Европы. Перенесла эту болезнь и Жорж Санд, анализировавшая ее в статьях и романах: героиня «Лелии» (1833) не могла любить человека из любви к идеальному человечеству, и эта ошибка была ласково осуждена в «Жаке» (1834). Герой «Консуэло», граф Рудольфштадский, не желал принять людей такими, какими они были прежде и каковы они еще и сейчас. Он винил бога за то, что не все люди сотворены столь же добрыми и сострадательными, как он сам. И вот благодаря своему доброму, нежному сердцу он, сам того не замечая, стал безбожником и мизантропом»⁴.

Пушкин понял эту любовь — ненависть уже в 20-е годы. Его герой тоже был человеколюбом. Он так же, как Пушкин, встречался с декабристами и, очевидно, разделял их конституционные мечты и заботу о народе. Он заменил тяжелую барщину легким оброком, и «раб», благословляя его, имел к тому некоторые основания. Он мыслил и мечтал, и автору нравилась его

³ Рукописный набросок. См.: *Victor del Litto. La vie intellectuelle de Stendhal. Genèse et évolution de ses idées (1801—1821)*. Paris, 1959, p. 146.

⁴ *Жорж Санд. Собр. соч., т. V. М.—Л., 1972, стр. 172.*

«мечтам невольная преданность». Затем с ним, когда-то все любившим и, может быть, все благословлявшим, что-то произошло. Он почувствовал себя непонятым и разочаровался в людях. Он противопоставил «себя» «другим». «Тому уж нет очарований», кто ушел в непоправимое одиночество и, презирая людей, отбросил все, что радовало его в детстве и юности: слияние с окружающим, чувство неосознанного единства во всем. «Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней», — когда еще не было рокового отчуждения, возникшего из жажды добра, не было отщепенства, искусственно созданного размышлением, осуждением других, чувством собственного превосходства.

Но почему его грызет змия воспоминаний и раскаяние? Очевидно, это не сожаление о тех, кто любил и холил его ребенком и не получил за это ответного чувства — в детстве Онегина такого не было. Что же он совершил в своем нежном отрочестве и юности? Почему воспоминания вызывают раскаяние?

Угрызения совести были очень распространены в литературе первой половины века. Это было явлением общественным, своими корнями уходившим в эпоху революции. Угрызения начались среди французской эмиграции, многие представители которой упрекали себя в бессмысленном гедонизме своей прежней придворной жизни, в безразличии к своему дворянскому долгу, к королю, к стране⁵. Затем война за короля с отечеством, внутренняя борьба между сословной честью и долгом по отношению к стране, потом переход на сторону народа, принятие новой власти, более справедливой, чем прежняя, измены, нравственно оправданные и вызывавшие нарекания, — все это вызывало тяжелые конфликты совести и трагедии, на которые щедро откликнулась литература.

Почти в каждом произведении Байрона так же, как в его дневниках, возникает проблема угрызений совести, причины которых остаются неясными. Его биографы объясняли эти мотивы своим «биографическим» методом: Байрон будто бы сам совершал преступления самого дурного свойства и потому чувствовал раскаяние. Более тонкие критики, например Джеффри, Вальтер Скотт и некоторые другие, видели причину в разрыве Байрона со своей средой, в презрении к человечеству, которое он ощущал как свою нравственную ошибку. Эти критики, глубоко ему сочувствовавшие, приветствовали последнюю песнь «Чайльд-Гарольда» как возвращение от «себя» к людям и к человечеству. Нужно думать, что Пушкин, отдавший столько внимания английскому поэту, так же как Лермонтов, понимал эти угрызения как сознание вины, заключавшейся в невыполненном долге по отношению к родной стране и порабощенному народу. Путь Онегина от Адама Смита, физиократии и легкого оброка к мизантропии напоминает путь Байрона, начавшего выступлениями в защиту ра-

⁵ См.: F. Baldensperger. Le mouvement des idées dans l'émigration française. Paris, 1924.

бочих и кончившего прощанием с Англией и бегством в чужие страны.

Очевидно то же происходило с Лермонтовым. Может быть так следовало бы понимать известные стихи Лермонтова:

Безумец я! вы правы, правы!
Смешно бессмертье на земли.
Как смел желать я громкой славы,
Когда вы счастливы в пыли?
Как мог я цепь предубеждений
Умом свободным потрясать
И пламень тайных угрызений
За жар поэзии принять?

Из первых строк явствует, что безумием было искать славы призывами к свободе и человеколюбию и надеяться на признательность людей, которых поэт хотел просветить и тем облагодетельствовать. Эта небольшая часть человечества — светское общество. Оно не понимает высоких гуманных идей и крепко держится за свои «предубеждения» — по-видимому, те самые, с которыми боролись декабристы. Общество, к которому он обращается, принимает как должное несправедливый социальный строй и основное зло тогдашней России — крепостное право⁷. «Тайные угрызения» были терзаниями кающегося дворянина, которые и заставили его взывать к своим глухим слушателям. Он тоже «жил и мыслил», и ему тоже кажется, что он ошибся: его никто не понял и все осудили, и человечество ему опротивело. Так же может быть истолковано стихотворение «Не верь себе», проникнутое той же горькой иронией, которая не разрушает, а подчеркивает заключенную в стихотворении мысль⁸. Автор, называющий себя безумцем, отрекается от человечества, которое представилось ему в виде светских мечтан, чиновников и тупиц, и осуждает себя если не за тайные угрызения, то за желание добра. Он переживает то же, что переживал Онегин и во всем отчаявшийся Дантон.

Строфа «Евгения Онегина», о которой идет речь, не расшифрована автором с достаточной точностью. Надеялся ли он на то, что читатель, современник Онегина, болеющий тем же недугом, поймет все как следует? Или предпочитал оставить читателя наедине с волнующей и трагической загадкой? Может быть, он не хотел (или не мог) в обманчиво точных словах объяснять причины, приведшие его героя к такой пустоте?

⁷ О значении декабрьского восстания и последующих событий для мысли и творчества Лермонтова см. в кн.: *Т. Иванова*. Юность Лермонтова. М., 1957.

⁸ О толковании «Не верь себе» в русской критике см.: *К. Н. Григорьян*. Лермонтов и романтизм. М.—Л., «Наука», 1964, стр. 67—85.

Крепостное право в те времена было одним из самых тяжелых бедствий, остро волновавших русскую прогрессивную интеллигенцию. Эта вопиющая несправедливость не давала покоя и тем, для кого она была наследственным правом и жизненной необходимостью. Так рассматривает это «право» Некрасов в «Медвежьей охоте», написанной после реформы. Портрет «лишнего человека» набросан здесь мастерски, несколькими штрихами:

Хоть реального усилья
Ты не сделал никогда,
Чувству горького бессилья
Подчинившись навсегда...
Ты стоял перед отчизною,
Честен мыслью, сердцем чист,
Воплощенной укоризною
Либерал-идеалист!⁹

Это слова Миши, вспоминающего дореформенную Россию. В словах Пальцова, который узнает в себе такого «идеалиста», звучит та же тоска и недоверие к людям, которым отличался Онегин и автор лермонтовского стихотворения.

И затем следует оправдание тоскующих, обреченных на праздность:

Не понимаем мы глубоких мук,
Которыми болит душа иная,
Внимая в жизни вечно ложный звук
И в праздности невольной изнывая;
Не понимаем мы — и где же нам понять? —
Что белый свет кончается не нами,
Что можно личным горем не страдать
И плакать честными слезами.
Что туча каждая, грозящая бедой,
Нависшая над жизнью народной,
След оставляет роковой
В душе живой и благородной!

Эти непонимающие считали автора лермонтовского стихотворения безумцем и внушали Онегину отвращение к родной стране.

Называя Белинского, Грановского, Гоголя, Некрасов утешает себя словами, звучавшими в то время пророчеством:

Мудреными путями бог ведет
Тебя, многострадальная Россия!
Попробуй усомнись в твоих богатырях
Доисторического века,
Когда и в наши дни выносят на плечах
Всё поколение два—три человека!

⁹ Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. II, стр. 277—278.

К числу этих «двух—трех» можно было бы причислить Пушкина, Лермонтова, самого Некрасова и многих других, вынесших на плечах целые поколения.

Объяснить то, что прозрачно скрыл от читателя Пушкин, можно, восстановив эту русскую перспективу, которая живет в «Евгении Онегине»; в герое этого романа отразилось нечто большее, чем только заимствованный у Запада «байронизм». Основные вехи, по которым шло развитие этого «недуга» или, вернее, проблемы, не раз намечались критиками той эпохи и нашими современными литературоведами, но точно определить эту проблему в каждом данном сознании было бы трудно — слишком различно было ее понимание в умах, болевших ею в те далекие, но оставшиеся в памяти времена.

*Современные
проблемы*
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
и ЯЗЫКОЗНАНИЯ

*К 70-летию
со дня рождения
академика*
Михаила Борисовича
ХРАПЧЕНКО



Издательство «Наука» · Москва 1974